

# Ольга Михайлова

## Шерлок от литературы

*Главное, чему учит чтение книг,  
— что лишь очень немногие книги  
заслуживают прочтения.*

**Генри Луис Менкен**

*Во мне, а не в писаниях Монтеня  
содержится то, что я в них  
вычитываю.*

**Блез Паскаль**

## Пролог

### Перезагрузка сознания

Я был просто дураком, и единственное, что меня извиняло — молодость.

В двадцать два глупость ещё простительна.

— Юрий, я не могу быть с тобой. Ты должен понять, — Рита смотрела странно пустыми глазами, — Сергей и я... мы решили пожениться.

Должен понять? Наверное, но я не понял. Не смог.

В университете была военная кафедра, однако на следующий день я появился в военкомате. Там на меня тоже странно посмотрели, но вроде поняли.

Так я оказался в Афгане, где мы воевали уже восемь лет. Это был не Кандагар, но тоже горячее местечко. Когда я понял, что был дураком? При первом же подрыве, почти как в матрице процессора компьютера, в мозгу идёт переформатирование сознания с одновременным осознанием нового уровня сложности жизни.

И я быстро понял, что измена нравящейся девицы, в общем-то, не стоит и гроша, предательство же того, кого считал другом, — тоже не повод для отчаяния, и таких резких движений впредь делать не следует.

Это был первый вывод зрелости. При этом в Афгане какая-то незримая стена отделяла меня от остальных. Сблизиться ни с кем не получалось. Я вроде считался своим, но... всегда вроде.

...Каска спасла мне жизнь, сказал потом нейрохирург. Но это уже в госпитале, а сначала были вспышка, тугой толчок воздуха и жестокий удар о неприветливую афганскую землю. Мгновенный провал в сознании. Открыв глаза, я удивился тишине. Где-то далеко-далеко бесшумно горела боевая машина, и суетились люди. Не было звука, не было боли и ощущения собственного тела. Но потом пришёл запах горелой резины и раскалённого металла, нахлынула боль, заполнившая череп раскалённой лавой. Всё шло отрывками, через черные провалы. Командир

взвода с запёкшейся ссадиной на лице орал: «Истомин! Слышишь меня? Истомин!». Подрагивающий пол вертолёта и матерящийся от боли сосед. Приёмный покой госпиталя, белый потолок больничной палаты.

Английский пилигрим Ферер записал в походном блокноте: «Иностранец, которому случится попасть в Афганистан, будет под особым покровительством неба, если выйдет оттуда целым и невредимым и с головой на плечах». Что же, небо покровительствовало мне: я возвратился в Питер — нервный и издёрганный, но с головой на плечах. Она уже почти не болела.

Война оказались в прошлом, но переход к покою дался мне тяжелее, чем пути по пыльным афганским тропам после прогулок по ленинградским проспектам. По ночам я всё ещё воевал, и спокойствие городских улиц действовало на нервы. Впрочем, чего врать-то? На нервы действовало абсолютно всё.

Конец августа не дал времени на размышления: я хотел вернуться в университет. Это удалось неожиданно легко, потребовалось только написать заявление на имя декана с просьбой восстановить меня на четвёртом курсе. Я написал. Мои сокурсники уже окончили университет, и, понимая, что попаду в общество незнакомых людей, я нервничал ещё больше. На

Университетскую набережную пришёл за полчаса до занятий — сам не зная, зачем. Потоптался у расписания, переписал его в блокнот, поднялся на второй этаж.

...Он появился в конце тёмного коридора и неровной вихляющейся походкой подошёл к моей аудитории. Глаза, большие и наглые, окинули меня быстрым взглядом. Я сжал в карманах кулаки. Очень худой, вихрастый, с насмешливой шутовской рожей, он не понравился до отвращения, но я сдержался: коридор за его спиной уже наполнялся людьми, стало шумно, двери в аудиторию распахнулись, краем глаза я заметил нашего куратора.

Неожиданно кривляка заговорил:

— Афганистан, — кивнул он так, словно свидетельствовал, что дважды два — четыре. Потом, без всякой паузы, добавил, — не нужно так сжимать руки в карманах, Юрий, даже если моя физиономия вам не по душе. А что она вам не по душе — понятно как раз из сжатых кулаков в карманах. Мы не выбираем себе лица. — Он снова улыбнулся и гаерски поклонился. — Я — Михаил Литвинов.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? — я смерил его тяжёлым взглядом.

Всегда терпеть не мог, когда навязываются со знакомствами.

— Ну, откуда бы мне это знать? — снова усмехнулся он и пояснил, как ребёнку, — в деканате, разумеется, сказали. Вам не понравилось, что я излишне фамильярен? — проницательно спросил он. — А мне показалось, вам не хватает... — он неожиданно умолк.

— Чего? — тон мой стал резче.

Этот паясничающий гаер порядком надоел. Кроме того, в деканате я сказал, что вернулся из армии, но никому ничего не говорил про Афганистан, и то, что он угадал, тоже разозлило.

— Чего мне не хватает?

Улыбка сбежала с лица Литвинова. Он обернулся на шум в коридоре, где за его спиной две девицы с визгом бросились друг другу в объятия, потом снова посмотрел на меня — всё тем же остановившимся тёмным взглядом.

Теперь он показался серьёзным и печальным. Я отметил, что глаза его — тёмные, без зрачков, — напоминают дула автоматов. Пока он смеялся, это не проступало.

— Вообще-то нам всем не хватает любви, — негромко и хрипло ответил он, вовсе не стараясь перекричать гул коридора. — Я где-то прочитал, что все беды мира происходят оттого, что в нём страшно не хватает любви.

Я оторопел: слова эти какой-то нелепой неотмирностью неожиданно смутили. На минуту

промелькнула дурная мысль: «Уж не с голубым ли свела меня недобрая судьба?», но в голове она как-то не задержалась. Сам же Литвинов всё той же неровной походкой медленно пошёл к распахнутой двери кабинета, и тут до меня дошло, что он просто прихрамывает.

Я снова смутился и поспешил войти следом.

Небольшая аудитория была заполнена почти наполовину, контингент на курсе оказался в основном женским. Четверо мужчин — Литвинов, двое палестинцев с чёрно-белыми шарфами и один маленький шоколадный человечек, оказавшийся принцем Бангладеш, выглядели случайными вкраплениями чёрной слюды в этой цветной мозаике.

Литвинов сел за второй стол у окна, похоже, это было его привычное место.

Девушки, среди которых я не заметил ни одной хорошенькой, всё ещё оживлённо здоровались друг с другом, целовались и повизгивали, некоторые кивали Михаилу, а одна даже чмокнула его в щеку и почему-то назвала Шерлоком, но место рядом с ним оставалось свободным. Это снова насторожило меня, тем более что я поймал его мимолётный приглашающий взгляд.

Тут, однако, прерывая мои мысли и подавляя подозрения, в аудитории появилась девушка, одетая как с модной картинки. В повороте головы

мелькнул красивый профиль и грива вьющихся рыжевато-каштановых волос. Я ощутил запах духов — пряных, немного сладковатых и явно очень дорогих.

— Привет, Мишель, — красавица замерла у литвиновского стола, точно ожидая приглашения сесть рядом.

Приглашения не последовало.

Михаил приподнялся, вежливо и церемонно кивнул девице головой в знак приветствия, потом сел и отвернулся к окну. Красотка же, нервно дёрнув головой и презрительно фыркнув, села в конце соседнего ряда. Я сразу расслабился, поняв, что Литвинов вовсе не голубой: слишком много насады было в позе и жестах девицы для банального знакомства. Тут несомненно пахло тяжёлым, затяжным и дурно складывающимся романом.

Наш куратор, замшелая старушка Лидия Вознесенская, которую я помнил по первым годам учёбы, сообщила моим будущим сокурсницам, что с ними будет учиться новенький — Юрий Истомин.

Одни девицы покосились на меня исподлобья, другие оглядели откровенно, не таясь. Я неловко поклонился, потом, помедлив, прошёл по проходу и сел рядом с Литвиновым.

Лидия Васильевна тем временем торопливо провела перекличку, и я узнал, что красавицу звали

Ириной Аверкиевой.

Не давая никому времени на разговоры, в аудиторию вошёл Илья Ефимович Холмогоров, преподаватель языкознания. Пока профессор раскладывал на столе пособия, я счёл нужным тихо спросить Литвинова, намекая на его, видимо, непростые отношения с Аверкиевой, не стоит ли мне на следующей лекции сесть отдельно?

Литвинов раскрыл толстый конспект, криво усмехнулся и прошептал:

— Женщинам часто кажется, что если довести бессмыслицу до абсурда, может получиться что-то осмысленное. Но это логическая ошибка. — Он наклонился к моему уху вплотную и ещё тише сообщил. — Рад, что вы отказались от нелепых подозрений на мой счёт. Вы довольно быстро соображаете. У меня, разумеется, есть грехи, но, упаси Бог, не содомские.

Я искоса метнул взгляд на Литвинова. Мне польстила его похвала, однако задело, что он столь правильно расшифровал мои подозрения. Одновременно сейчас, в хорошо освещённой аудитории, я недоумевал: с чего это он показался мне неприятным?

Выглядел Литвинов как типичный петербуржец: бледное интеллигентное лицо с нервным ртом и заострённым длинным носом. Разве что тёмные, чуть вьющиеся волосы и глаза —



какие-то восточные — выделяли его среди свинцовой питерской хмари.

Просочилась и другая мысль: «Что, интересно, у него с этой Аверкиевой?»

И я подивился себе, ибо никогда не отличался любопытством.

Первая лекция по языкознанию была такой же скучной, как и те, что мне довелось слушать полтора года назад на четвёртом курсе, но, зная, как относится профессор к тем, у кого не обнаруживается конспектов его лекций, не удивлялся, что все записывали. У меня, по счастью, остался конспект доафганских времён, и я просто сверял его с лекцией Ильи Ефимовича, к радости своей не обнаруживая никаких существенных расхождений.

Литвинов тоже писал: отчётливым, почти каллиграфическим почерком, при этом — очень быстро. Временами я осторожно поворачивал голову направо — туда, где сидела Аверкиева, и всякий раз видел её взгляд в спину Литвинова — напряжённый и остановившийся, Литвинов же ни разу не обернулся.

В перерыве мы разговорились.

— Почему вас называют Шерлоком? — я сам удивился непривычному дружелюбию своего тона. — Практикуете дедукцию и расследуете преступления?

— Нет, — покачал головой Литвинов, — любая логика — это искусство мыслить в строгом соответствии с ограниченностью человеческого разума, потому-то логика умеет ошибаться с полной достоверностью, и ничто так не логично, как глупость. Я скорее интуитивен, чем логичен.

Отметив мягкую плавность его речи, я восхитился и даже позавидовал. Полтора года войны, надо признать, лишили меня красноречия. Мне часто не хватало слов, трудно было выразить мысль, речь стала лапидарной, как предгорья Гиндукуша, и это раздражало.

— И что это значит на практике? — поинтересовался я.

— Если логика говорит мне, что жизнь — дурная и бессмысленная случайность, я посылаю к чёрту логику, а не жизнь, — любезно пояснил Литвинов.

Промелькнула мысль, что сам я когда-то поступил как раз наоборот, но я промолчал.

Из дальнейших разговоров с новым знакомым выяснилось, что новоявленный Холмс специализируется на кафедре русской литературы. Затем Литвинов сообщил, что ему чихать на кровавые тайны Боскомских долин и обряды дома Местгрейвов, просто он увлёкся психологией текста и сегодня может прочитать любого поэта и писателя как книгу, — по его стихам и прозе. И

именно этим он и занимается на досуге, развлекая сокурсников. Он — Шерлок от литературы.

Я счёл это ненаучным.

— В подобные изыскания неизбежно вторгаются личные предпочтения исследователя, — возразил я ему. — Историк литературы никогда не может быть абсолютно беспристрастным.

Михаил на мой аргумент только пожал плечами и вяло возразил, что беспристрастны только кирпичи, трупы да диссертации.

Я находчиво выдвинул новый аргумент:

— Пршшлое недоступно наблюдению, со временем неясными становятся причины событий, основания и мотивы поступков.

Однако Михаил и с этим не согласился:

— Астрономы судят о далёких галактиках по доходящему до Земли свету, и считают свои исследования вполне научными, в моём же распоряжении — вещественные следы прошедших эпох: книги, письма, дневники, воспоминания. Сиди и анализируй.

Я снова не согласился, но разговор заинтересовал и как-то расслабил. Впервые за много дней перестали раздражать чужие слова и физиономии, не вызывали никаких эмоций визги девиц за спиной, и даже накапывавший за окном сентябрьский дождь не нервировал, а успокаивал.

Лицо Литвинова, умное и живое, теперь

нравилось.

Чего я утром на него взъелся?

Однако я не решился спросить его об Аверкиевой, причём не только на языкознании, но и на истории философии и спецкурсе по Достоевскому, куда записался только потому, что туда пошёл Михаил. Отношение Шерлока к девице явно противоречило той фразе о любви, что он бросил в коридоре.

Я был заинтригован новым знакомством и откровенно обрадовался, неожиданно получив приглашение зайти к нему после занятий подзакусить.

Как оказалось, квартировал новоявленный Шерлок не на Бейкер-стрит, а в Банковском переулке, совсем рядом.

# Глава 1

## Большой секрет для маленькой компании

*Другом является человек, с которым я могу быть искренним. В его присутствии я могу думать вслух.*

**Ральф Эмерсон**

Квартира Литвинова в старомодном, но внушительном особнячке в Банковском переулке, к моему немалому удивлению, оказалась не съёмной хатой, а собственностью Мишеля, завещанной ему покойной бабушкой. И устроился он там недурно: обстановка была вовсе не богемной, чего я, признаться, ожидал, а весьма солидной, едва ли не антикварной. Никакого тебе минимализма: два массивных буфета с витражами цветного стекла, литая бронзовая люстра с фавнами, диван с грузными подлокотниками, перетянутый бледно-зелёным бархатом, повторявшимся в цвете тяжёлых портьер на окнах.

Модерн.

В большой спальне, оклеенной тёмно-вишнёвыми обоями, фронтальная стена была занята коллекцией старинных часов с мелькавшими маятниками и причудливыми циферблатами, в углу

громоздилась кровать и два кресла, накрытые пушистыми пледами, а боковую стену занимали полки с книгами. На полу лежал огромный ковёр.

Такого я у питерцев отродясь не видывал.

Мишель, снова прочитав мои мысли, пояснил, обстановка в квартире частью наследственная, а частью собранная им по свалкам и распродажам, подправленная и отреставрированная. Нет ничего интереснее, поведал мне он, чем восстанавливать из праха останки вещей и оживлять мёртвых.

Литвинов с откровенной гордостью снял с журнального столика тяжёлый подсвечник.

— Этот канделярий я нашёл среди кучи хлама на стройплощадке за Лиговским, когда ломали старый дом. Он весь позеленел от патины и два рожка были отломаны. Реставрировал полгода, но в итоге... — Литвинов чуть отодвинулся, предоставляя мне возможность полюбоваться плодами своих трудов.

Старый шандал, который Литвинов почему-то звучно именовал канделярием, действительно выглядел дорогой антикварной вещью.

— Диван тоже сам перетягивал, — похвастался он и, тяжело вздохнув, признался, что это потребовало от него невероятного напряжения интеллекта.

Мы прошли на кухню.

— Ваши вкусы совсем не питерские,

Михаил, — осторожно обронил я, садясь у подобия барной стойки.

— Это и бабушка говорила, — согласился Литвинов, покаянно повесив голову, и тут же поднял её, ставя на плиту кофе и доставая из холодильника кулебяку. — Подлинную цену жизни познаёшь, когда теряешь всё. Бабуле после блокады буханка хлеба казалась сокровищем, а бриллианты — ненужной стекляшкой. Она не любила ковры и пледы и никогда не носила украшений. А у меня это, надо полагать, издержки взросления. Само пройдёт, — махнул он рукой.

В кухне, явно не рассчитанной на большие компании, было тепло и уютно. Я совсем расслабился и неожиданно для себя самого перешёл на «ты».

— Почему ты прихрамываешь?

Ответ шибанул меня, как взрыв фугаса.

— Панджшер, — со странной вежливостью ответил он. — Правда, пробыл я там всего три месяца и, в общем-то, дёшево отделался. Три года сильно хромал, уже полгода хожу без палки, но после долгой ходьбы слегка заносит. Никак не могу отучиться думать, куда ставить ногу. — Он зло поморщился и нервно закурил, тут же брезгливо посмотрев на сигарету. — Чёрт, снова курю, а ведь хотел же завязать... — ругнулся он и вернулся к теме. — Это неумная военная компания напоминает

юношеские потуги на блуд, не вовремя начинаешь и кончаешь, когда не надо. — Потом, утонув в клубах дыма, неожиданно добавил, — кто это сказал, что война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви?

— Тебе долго это снилось? — спросил я, не ответив ему.

— Пару месяцев, — педантично ответил он. — Потом я сказал себе, что не позволю дурным воспоминаниям испортить себе жизнь. Это было не логично, но интуитивно. — По его лицу пробежала тень. — Меня там называли скелетом и удивились, когда пуля попала в бедро. Мой командир так прямо и рубанул: «А у него разве есть ляжки?» Оставим это, — отмахнулся он.

Я тоже не хотел говорить на эту тему, однако, заметив, что он не чурается вопросов, решился спросить о том, что уже полдня интриговало меня.

— Ты сказал, что всем не хватает любви...

— Сказал, — кивнул он, загасив окурок, и с явным аппетитом вгрызся в кусок кулебяки.

Запах кофе навевал сонливость и создавал ощущение чего-то очень домашнего.

— Но этой Аверкиевой, — я осторожно разрезал свой кусок на две половинки, — ведь ей тоже не хватает любви.

— Ой, ли! — бесшабашно расхохотался Михаил, но потом стал серьезнее. — Каноническая



формула гласит: «Бог есть любовь», но по законам логики обратное не обязательно верно. Не каждая любовь, поверь, божественна. Важно тонко различать дефиниции. Любовь и женщина — понятия не тождественные. Ищи я аналог, обрёл бы его в буддизме. Женщина — пустота. Пустота засасывает. Вот почему мужчину влечёт к женщине. Любовь тут совершенно ни при чём.

Он так артистично кривлялся, что я не мог не рассмеяться.

— Хотя, кто знает, — философично добавил он, — может, и существуют женщины, с которыми можно провести вечность? — он закатил глаза в потолок. — Но не жизнь. Я готов тратить на женщину время и деньги, но мотивация должна быть убедительной. Пустота же неубедительна, — продолжал паясничать Литвинов. — Безграничная любовь разворачивает безгранично, а ведь рамки приличий и без того расширились в последнее время до безобразия.

Мишель допил кофе и неожиданно смущённо пробормотал.

— Раньше угрызения совести преследовали меня после каждой любовной истории, а теперь — ещё до неё. Порой чувствую себя фетишистом, который тоскует по женской туфельке или подвязке, а вынужден иметь дело со всей женщиной. При этом чтобы сделать женщину

несчастной, иногда достаточно просто ничего не делать, вот в чём ужас-то.

Сентенции Мишеля в какой-то мере прояснили для меня положение.

— Бедная Ирина Аверкиева, — небрежно обронил я.

Литвинов небрежно отмахнулся.

— Такие мечтают о Казанове, у которого не было бы других женщин, а окрылённые любовью уподобляются летучим мышам. Их любовь — не жалобный стон скрипки, а торжествующий скрип кроватных пружин. Но в итоге от тебя останется одна тень, предупреждаю, — подмигнул он. — Я же изначально слишком тощ, чтобы пускаться в подобные авантюры.

Он тонко сместил акценты, несомненно, поняв, что девица заинтересовала меня.

— Девочка меркантильна? — уточнил я.

— Можно ли купить любовь за деньги? — брови Мишеля снова шутовски взлетели вверх. — Конечно. Купи собаку. А тут бесплатной будет только луна. А главное, — он склонился ко мне, нравоучительно подняв указательный палец, — избегай секса. После него дело обычно доходит до поцелуев, а там и до разговоров. И тут всему приходит конец. — Он вычертил длиннопалой рукой в воздухе Андреевский крест. — Истинную формулу любви оставил нам Гёте: «Если я люблю

тебя, что тебе до того?»

Нахал сказал вполне достаточно, чтобы предостеречь меня, и я сменил тему, спросив, почему он поступил на филфак?

Михаил пожал плечами и ответил вопросом:

— Я всегда любил полнолуние, свечи в шандалах, крепкий кофе, разговор с умным человеком и книги. Что из перечисленного я мог сделать профессией?

— Ты не разочаровался?

Литвинов пожал плечами.

— Говорят, — Мишель подмигнул, — по крайней мере, Щедрин и Булгаков где-то обронули, что литература изъята из законов тления. Она не признает смерти, и рукописи-де не горят. Когда я это впервые услышал, ужаснулся, — вытаращил глаза Литвинов, — но, по счастью, оказалось, что всё обычная ложь. Поэты слишком много лгут, Заратустра прав. Рукописи прекрасно горят, и каждая сожжённая книга освещает мир, а иные, те, что с добротными картонными переплётками, ещё и согревают.

Литвинов явно изгалялся, но столь артистично, что я снова усмехнулся, а Михаил, снова вытаращив огромные глаза, продолжал.

— Литература — тень доброй беседы, а русская литература — просто национальный невроз, — он сморщил нос, точно унюхав зловоние

нужника. — Советская же — ещё и inferнальна вдобавок. В этом году у нас два семестра изучения самых диких литературных искажений и духовных перекосов.

— Мне казалось, — осторожно заметил я, — что тебя должна больше интересовать философия, — на лекции по истории философии я заметил, что Литвинов — любимец профессора.

Мишель картинно содрогнулся.

— Философия громоздит эвересты мысли, но каждый философ субъективно и нагло исходит не из меня, а из себя, и мир оказывается то категорическим императивом, то волей и представлением, то борьбой классов, то ещё какой-то ерундой. — Он вздохнул. — Философия, конечно, аристократична, как жажда мудрости, но Россия давно утратила аристократизм, его вывезли на известном пароходе. А оставшимся в философии нет ни нужды, ни проку. Разве что диссертацию сляпать на эклектике старого вздора и вздорных новинок. Работяги обычно мыслят чувствами, интеллигенция — амбициями, интеллектуалы — дурью да заскоками. Зачем нам философия? И вообще, — оборвал он себя, — после того, что мы вытворили со своей страной, нам ещё сто лет просто молчать надо. От стыда. Мы не умеем думать сами или не умеем мешать думать своим дуракам, и потому — *silentium*.

— Было бы больше знающих литературу и чувствующих искусство, таких страниц истории не было бы. Так ты сторонник чистого искусства и академической науки? — уточнил я, пытаюсь разобраться в его взглядах.

— Нет, с чего бы? — пожал он плечами, явно удивившись. — Я, скорее, консерватор, а, главное, сторонник крайней элитарности оценок и противник дурных идей.

Он встал, методично помыл кружки и снова заговорил с непонятной мне раздражённо-брезгливой гримасой.

— Увлечение нашего национального гения Вольтером отпрыгнулось нам декабризмом. А дальше «декабристы разбудили Герцена ets...» Революции начинаются за столетие до своего начала и в основе своей имеют одну-две ложных, безбожных и пламенных идейки, проникающих в набитые паклей мозги. Рано или поздно головы запылают.

Мишель вздохнул.

— Вот тут и понимаешь инквизицию с её «Индексом запрещённых книг» и охраной ватных мозгов от пламенных идей. У нас же, как верно изволил заметить другой национальный гений, «русский Бог сплеховал». Именно поэтому не могу согласиться с твоим утверждением, «было бы больше знающих литературу и чувствующих

искусство, таких страниц истории не было бы...» Наоборот. Чем меньше влияние имела бы наша литература с её пенями о «маленьком человеке», да некрасовским «зовом к топору», — тем больше шансов было бы уцелеть в 1917-ом. Миром правят идеи, причём, самые пошлые. Потому-то литература отвечает за весьма многое, она распространяет идеи. И пустые идейки постмодернизма с их алогизмом и фрагментарной реальностью нам ещё тоже, уверяю тебя, отрыгнутся.

— Ты считаешь коммунизм — трагедией?

— Трагедия — это мои ровесники кричат про совок и тупых комунык, а спроси, чего хотят они сами, тебе начинают цитировать программу РСДРП 1903 года, причём местами дословно. Изучая историю, я натолкнулся на удивительные случаи «чёртовых кругов», когда одну и ту же нацию постоянно носит по одним и тем же колдобинам, и никто, увы, ничему не учится — ни на своих ошибках, ни на чужих.

— Понятно, — протянул я. — А что ищешь?

— Бога, разумеется, — ответил Мишель так, словно ответ подразумевался сам собой.

Узнав, что я снимаю комнатку на Малой Балканской за Дунайским проспектом, Литвинов осуждающе покачал головой, пробормотав, что это же почти в Шушарах, откровенно критикуя даль, в

которую я забрался. Потом предложил поселиться рядом с ним: наверху, на мансарде, сдаётся комната.

Я с сожалением развёл руками, ибо обременять отца не хотел, а со стипендии не разгуляешься. Но стоимость квартирки, к моему немалому удивлению, оказалась совсем мизерной. Ванны и душа там не было, к тому же, батарея, по словам Литвинова, не грела. Зато рядом с университетом.

Я неожиданно быстро решил: я сэкономил массу времени на проезде и, что скрывать, меня привлекла возможность поселиться рядом с Михаилом. Я устал от разговоров с самим собой, а с ним, я уже понял это, было приятно поболтать. Это ли не самый большой секрет для маленькой компании?

Вот так и вышло, что уже к шестому сентября я квартировал в центре города, причём вечера неизменно проводил с Литвиновым, быстро поняв, что ему почти так же, как мне, необходим собеседник. Мы подошли друг другу, и, несмотря на наши препирательства и споры, моя напряжённость начала медленно перетекать в безмятежность, дурные сны с предгорий Гиндукуша тоже сгнули. К тому же вскоре после нашего знакомства Литвинов притащил невесть откуда полосатого мокрого котёнка, названного им

Горацием. От его присутствия в доме прибавилось уюта и покоя, но уменьшилось количество колбасы в холодильнике и порядка на книжных полках. Однако Мишель относился к хаосу, устраиваемому котом, философски, то есть пофигистически, объясняя мне, что хаосом мы просто склонны называть непонятную нам гармонию.

Сам же Литвинов обладал удивительным свойством — успокаивать одним своим присутствием, мягко сглаживать острые углы, незаметно обкатывая и шлифуя их, как океанские волны — острия камней.

Через пару недель я уже немного разобрался в его пристрастиях. Он абсолютно не интересовался политикой, никогда не смотрел новости, неизменно заявляя, что шум повседневности дурного века не должен вторгаться в его вечность, его любимым времяпрепровождением было витание в эмпиреях в поисках эликсира бессмертия и литературные изыскания. Однако Мишель вовсе не обретался в мире иллюзий. Суждения его были остры и точны, словно он смотрел на жизнь через прицел автомата. Кроме того, ему была присуща невероятная стрессоустойчивость: его нельзя было обидеть, задеть или унижить, ибо у него, как я заметил, просто не было чувства значимости мира и серьёзности происходящего. Из таких людей при дурных наклонностях входят самые хладнокровные



убийцы, но Литвинов не имел дурных склонностей, был незлобив и умён. Он вертел словами и играл смыслами, считал, что вернейший способ сделать разговор нескучным — сказать что-нибудь не то, но в поступках был весьма осмотрителен.

Нет, не хочу сказать, что Литвинов был идеалом. Он не держал табак в ведёрке для угля, но вполне мог, поглощённый размышлениями о вечном, засунуть сигареты в холодильник, туда, где лежали яйца. Он не играл на скрипке, но все часы в его доме ежечасно на разные лады отбивали время, он же отказывался останавливать их, уверяя, что часовой механизм портится от простоя. И, уж конечно, я никогда не мог примириться с его жуткой манерой варить суп: добавляя в кипящую кастрюльку очередной ингредиент, Литвинов всегда злодейски хихикал, бормоча заклинания шекспировских ведьм в «Макбете»:

«Жаба, в трещине камней  
пухнувшая тридцать дней,  
из отрав и нечистот  
первою в котёл пойдёт.  
А потом — спина змеи  
без хвоста и чешуи,  
пёсья мокрая ноздря  
с мордою нетопыря,

лягушиное бедро  
и свиное перо,  
ящериц помет и слизь  
в колдовской котёл вались!»

Я много раз пенял ему на подобное поведение, Литвинов же неизменно отвечал, что занимаясь столь скучным делом, как приготовление пищи, он имеет право развлекать себя, как умеет.

Стряпать он не любил, зато любил считать себя гурманом.

Я быстро убедился в глубокой эрудиции Мишеля, но, признаюсь, всё ещё сомневался в его литературно-детективных способностях. Однако вскоре мне представился случай убедиться в его правоте.

Но об этом — в следующей главе.

## Глава 2

# Никогда не играйте с оружием

*Ложь всегда извивается, как змея, ползёт ли она или лежит в покое; лишь когда она мертва, она пряма и не притворяется.*

**Мартин Лютер**

«Загадочная гибель одного из самых ярких поэтов прошлого века Владимира Маяковского волнует поклонников и по сей день. Что же послужило роковой причиной рокового выстрела?..»

На повороте к Банковскому переулку я захлопнул книгу и попросил таксиста остановиться, расплатился и несколько секунд размышлял, как без зонта проскочить от стоянки до литвиновского парадного, не вымокнув до нитки. Потом понял, что размышления не помогут, выскочил на мокрый тротуар и под проливным дождём ринулся к дому.

Увы, мне повезло, как утопленнику: по пути я ступил в лужу, маскировавшую основательную выбоину в асфальте, и в итоге провалился в воду по щиколотку.

Проклиная чёртов дождь и собственное невезение, я добрался до квартиры Литвинова.

— А, Юрик, — заметив меня, кивнул Мишель,

который возлежал на диване с котом, и только что не мурлыкал вместе с Горацием. — Оказывается, он не лжёт.

— Кто не лжёт? — я включил чайник, отжал и повесил мокрый носок на батарею и водрузил рядом промокший ботинок.

— Каудильо Франко, — с готовностью сообщил Мишель. — Его людей обвиняли в убийстве Гарсиа Лорки. А он — чист, как голубь. — Мишель соизволил наконец заметить мой мокрый ботинок на обогревателе. — Там, что, дождь?

— Там ливень, сэр, — издевательски проинформировал я его и тут, вспомнив прочитанное, оживился. — Слушай, брось своего каудильо, подумай-ка о смерти Маяковского. Он покончил с собой, и никто до сих пор не понял, почему. Я сегодня к семинару книгу о его самоубийстве почитал. Всё чин по чину: записка, пистолет, пуля в сердце. Давай, разберись, что к чему, а?

Я, что скрывать, просто провоцировал дружка, ибо был уверен, что ничего он не обнаружит.

Мишель с задумчивым видом уставился в потолок.

— Почему бы и нет?

К самоубийцам он относился брезгливо, но не по религиозным соображениям, а из любви к

церемониям и этикету, считая, что бестактно являться к Господу незваным. Он и сам незваных гостей терпеть не мог.

— Дай мне время до пятницы, — попросил он. — Изучу воспоминания, личность, стихи, воссоздам картину смерти и всё пойму.

Я уже успел притерпеться к апломбу Мишеля и даже ухом не повёл. Мы выпили кофе, обсудили поездку в Павловск, поболтали о чистом, как голубь, каудильо Франко, но, высушив носок и направляясь к себе, я напомнил ему о Маяковском.

Уж очень хотелось сбить спесь с дружка.

У себя я специально почитал ещё несколько книг о поэте, чтобы не выглядеть профаном, и в пятницу вечером появился у Литвинова. Мишель был обложен томами стихов Маяковского и исследований о нём, и отгонял от книг полосатого Горация, плотоядно принюхивавшегося к пожелтевшим страницам старого издания поэта.

— Ну, что же, Юрик... — задумчиво пробормотал Литвинов, жмурясь, как кот на майском припёке. — Тайну смерти Маяковского я разгадал.

— И выяснил, почему он покончил с собой? — насмешливо осведомился я.

— Представь себе, — глаза Мишеля довольно блестели.

Я смерил его недоверчивым взглядом,

немного смутившись. Дружок мой, надо заметить, был всё же не позёр и не лгун и, если что утверждал, то доказательства подбирал умело. Однако вот так, за три дня — разгадать тайну, над которой бились десятки исследователей и просто любителей криптоисторий?

— Свежо предание, да верится с трудом, — ответил я классической цитатой. — Улики в студию!

— Слушай же внимательно, Юрик, — продолжал глумящийся нахал, лучась улыбкой, — и я проведу тебя узкими тропинками моих размышлений в царство высоких озарений.

Я насмешливо хохотнул и плюхнулся в зелёное кресло. Кот Гораций, как по команде, свернулся калачиком у ног Мишеля, а Литвинов с царственным видом откинулся на диванную подушку.

— Итак, с чего начнём? Думаю, первое, на что обращаешь внимание, — начал Мишель, — это совсем иной тон и смысл стихов Маяковского по контрасту с классикой. Это действительно новый и даровитый поэт. Даровитый, да. Но разве раньше поэзию творили бездари? Чем же Маяковский отличается от Жуковского, Пушкина и Лермонтова?

Я задумался, но ответа не нашёл.

— Новым мышлением и новым взглядом на

вещи, — ответил за меня Мишель. — Революция вырезала дворянство как класс, и его кодекс чести и благородства, его этикет и манеры стали анахронизмом. Что же исчезло из мира вместе с благородством? Вот первое попавшееся определение, — он сунул нос в академический словарь. — «Благородство — высокая нравственность, самоотверженность, честность; великодушие, рыцарство, возвышенность, святость». Да, всего этого нет в постреволюционном обществе. Торжествуют безнравственность, эгоизм, лживость, малодушие и низость. И всё это, увы, свойственно и поэту революции.

— Ты уверен? — посыл Мишеля показался странным.

Литвинов раскрыл том стихов поэта.

— Пойдём от текста. Лейтмотив ранних стихов, как пишет Карабчиевский, кстати, один из лучших его исследователей, это обида и озлобленность, ненависть к более успешным, и — самолюбование. Как мило звучит эпитет «шлялся, глазастый» о самом себе, не правда ли? Проскальзывает и момент половой неудовлетворённости: любовь «рубλικов по сто» нашему поэту не по карману, но почему женщины не хотят ублажить его задарма? — этот вопрос висит в воздухе.

Гораций заурчал и пошевелил пушистым хвостом.

— Итак, он — нелюбим, — как ни в чем не бывало продолжал Михаил. — В молодом Маяковском проступают и хамоватая грубость, которая, правда, может маскировать застенчивость, и душевная неуравновешенность, которую можно принять за поэтическую чувствительность. Ходит он, однако, в ярко-жёлтой женской кофте — явно пытаясь привлечь к себе внимание.

— Тут нет ничего особенного, — отозвался я, вступившись за классика. — В те года, как говорил Бунин, все «мошенничали» и все были наряжены: Андреев и Шаляпин носили поддёвки, русские рубахи навыпуск и сапоги с лаковыми голенищами, Блок — бархатную блузу и кудри, даже Толстой рядился в лапти — под мужика. Другой Толстой корчил из себя барина, ходил в медвежьих шубах, купленных у Сухаревой башни, Есенин был известен валенками, окрещёнными Гиппиус «гетрами», сама же Гиппиус рядилась в «белую дьяволицу», и всем ряженным в эти годы несть числа. Так что футуристическая жёлтая кофта...

— Да, — согласился Мишель. — Шокировать окружающих — известный способ получать удовольствие. В особенности для тех, у кого самоуважение зависит от количества привлечённого к себе внимания. И давно замечено,



что более всего этой зависимостью грешат поэты. Александр Сергеевич Пушкин, к примеру, отращивал длиннющие ногти, полировал их до блеска и даже красил. Альфред де Мюссе носил на шее, как платок, подвязки своих любовниц. Высокорослый худой Гумилёв собирал толпы зевак, прогуливаясь по Петербургу в черных, выше колен сапогах, чёрном «испанском» плаще и высоченном чёрном цилиндре. Его ученик, Григорий Оцуп, одно время ходил во всем клетчатом — в клетчатой рубашке, галстукe, костюме, кепке, носках... и даже ботинках. Это все было обычным. Но у Маяковского были и явные странности. Наш поэт всегда и везде возил с собой резиновый тазик и постоянно тщательно мыл руки — после каждого рукопожатия. Никогда не держал кружку в правой руке, хоть и был правшой, а пил пиво и чай с левой стороны, почти со стороны ручки, порой — через соломинку.

— Почему? — изумился я. — Шизофреник?

Кот тоже странно посмотрел на Мишеля.

— Нет, — торопливо разуверил меня Литвинов, — не надо бросаться такими словами. — И он тут же поспешно растолковал. — Это просто детский страх. Его отец умер от заражения крови, проколов палец скрепкой, когда сшивал бумаги, и Маяковский панически боялся любой заразы. — Мишель закинул ногу на ногу и продолжил. — Но

странности поэта этим не исчерпываются. Он всегда, по крайней мере, в зрелости, носил с собой пистолет.

— Тяга к суициду? — с готовностью предположил я, кивнув.

Кот Гораций встал и перебрался ко мне на колени.

— Снова нет, — Мишель покачал головой. — По словам Маяковского, в него однажды кто-то стрелял. Поэт носил оружие для самообороны. Он боялся воров и убийц. И — коллекционировал пистолеты. В разных источниках приводятся разные данные, но все сходятся, что Маяковский имел браунинг, люгер, то есть парабеллум, и байард. Кое-где говорится, что в комнате, где оборвалась его жизнь, был целый арсенал: аж два люгера и два браунинга. А тот пистолет, из которого был произведён роковой выстрел, это маузер, подаренный Маяковскому начальником отдела ГПУ Яковом Аграновым.

— Ага, уже интересно...

Я, признаться, был почти уверен, что Мишель найдёт в смерти поэта след коварных замыслов ГПУ.

— Пока ничего интересного, — жёстко опроверг меня Литвинов и включил торшер, сразу заливший комнату уютным домашним светом.

Гораций, разлѣгшись у меня на коленях

заурчал, требуя почесать его за ушком. Я почесал, продолжая внимательно слушать.

— Это был подарок на день рождения за два года до смерти, — уточнил Мишель. — Подарок военного — поэту революции. Маузер был самым «крутым» по тем временам пистолетом: патронник перед спусковым крючком, изящная рукоятка, мощное длинное дуло. Это почти карабин. Модерн! Не удивлюсь и дарственной надписи. Но гэгэушного следа в деле нет, агентами ГПУ были Осип и Лиля Брики, сам Маяковский имел комнату в доме работников ГПУ, он играл с ними на бильярде и посвящал им стихи. «Мы стоим с врагом о скулу скула, и смерть стоит, ожидая жатвы. ГПУ — это нашей диктатуры кулак сжатый...» Это куда как не критика, это апологетика, Юрий.

— Ты твёрдо уверен, что ГПУ ни при чём? — напрямик спросил я.

— Уверен. И даже то, что маузер Агранова исчез из дела, не кажется мне криминалом. Да, Агранов распорядился его из дела изъять, но я на его месте поступил бы так же. Я тоже не хотел бы, чтобы мой подарок фигурировал в деле о самоубийстве именинника. Однако мы забегаем вперёд. Пока у нас на одной чаше весов — панический страх заразы и боязнь нападения, на другой — слова Лили Брик: «Мысль о

самоубийстве была хронической болезнью Маяковского, и, как каждая хроническая болезнь, она обострялась при неблагоприятных условиях...» «Едва я его узнала, он уже думал о самоубийстве. Предсмертные прощальные письма он писал не один раз», «Он любил неожиданно и весело, как бы между прочим, говорить в компаниях: «К сорока застрелюсь!» Лиля также рассказывала, что однажды Маяковский позвонил ей и сказал, что стреляется. Она примчалась к нему и застала его сидящим у окна. — Губы Мишеля насмешливо скривились. — Он сказал, что выстрелил в себя, но была осечка.

— Ты не веришь Лиле Брик? — спросил я, заметив его саркастическую усмешку.

Мишель пожал плечами.

— Почему? В её рассказе нет ничего особенного. Она неглупая женщина, а ложь таких женщин обычно чем-то мотивирована. Верю ли я Маяковскому — вот более серьёзный вопрос. — Литвинов снова взял в руки какую-то потрёпанную книгу и продолжал. — Леонид Равич, поклонник поэта, рассказывает один любопытнейший эпизод. Они с поэтом гуляли и увидели детей в песочнице. «Маяковский остановился, залюбовался детьми, а я, будто меня кто-то дёрнул за язык, тихо процитировал его стихи: «Я люблю смотреть, как умирают дети...» Маяковский молчал, потом вдруг

сказал: «Надо знать, почему написано, когда написано, для кого написано. Неужели вы думаете, что это правда?» Запомни это, Юрик. Это *ключевые слова* .

— Почему? — я в этих стихах ничего особенного, кроме дурного поэтического эпатажа Маяковского, не видел. И то, что задним числом Маяковский не признал их правдивыми, меня, в общем-то, совсем не удивило.

— Потому что точно так же: «*Неужели вы думаете, что это правда?*» — он мог бы сказать о любой своей строчке, — спокойно заметил Литвинов, и его слова на минуту точно зависли в воздухе. — Правда не имела для него никакого значения. Нет, — покачал он головой, заметив мой удивлённый взгляд, — он не был убеждённым лжецом. Он, боюсь, просто не знал, чем ложь отличается от правды. Ни у одного поэта так не велик разрыв между жизнью и стихами. Посуди сам. Он живёт в «семье на троих» с Бриками — и пишет стихи о подонках, «присосавшихся бесплатным приложением к каждой двуспальной кровати». Он кричит всем сытым в двадцать втором голодном году: «Чтоб каждый вам проглоченный глоток желудок жёг!», а на своей даче в этот же год устраивает приёмы и просит домработницу наготовить «всего побольше». Славивший «молнию в электрическом утюге», он не мог сам починить не

то что уют, а даже штепсель от него. Он с его «выше вздымайте, фонарные столбы, окровавленные туши лабазников» смертельно, просто панически боялся вида крови. Любил ли он смотреть, как умирают дети? — Мишель насмешливо фыркнул. — Нет, ему делалось дурно, когда умирали мухи на липкой бумаге. Следовательно, верить стихам поэта я не буду, и все пламенные строчки, вроде: «А сердце рвётся к выстрелу, а горло бредит бритвою...», я тоже, с твоего позволения, Юрик, сочту пустой риторикой. Он сказал Лиле, что стрелялся. А был ли выстрел-то? Может, он её просто на ночь так заманил, чтоб пожалела и осталась, а? Скорее я сделаю вывод, что он был неплохим артистом. Ведь она поверила. Но вечные разговоры о суициде и подобные демарши, — лицо Мишеля исказилось в рожицу горгульи, — это бестактно и некультурно.

Я был противником самоубийства исключительно по личным мотивам, но тоже кивнул. Кот мерно урчал у меня на коленях, закрыв глаза, и никак не прореагировал на слова Литвинова.

— А теперь, — Мишель на миг задумался, — попробуем воссоздать его личность — по сплетням и воспоминаниям современников.

— Ах, у нас уже и сплетни — источник познания? — я иронично усмехнулся.

— А почему нет? Сплетня и ложь — не синонимы, не каждая ложь — сплетня, и не каждая сплетня — ложь, — пожал плечами Литвинов. — О Маяковском много сплетничали. Чуковский услышал от знакомого врача, будто Маяковский заразил какую-то гражданку сифилисом, поделился новостью с Горьким, а основоположник соцреализма довёл её до ушей наркома Луначарского. Произошёл обидный для советской литературы скандал. Ложь всё, кстати. Сифилиса не было, но Маяковского часто объявляли и сумасшедшим, и исписавшимся, и литературным трупом. Намекали и на худшее: одну из причин самоубийства видели в импотенции.

Я нахмурился.

— А ты в это не веришь?

— Нет, он же жениться хотел, — пожал плечами Литвинов. — Но в быту это был человек крайне тяжёлый и утомительный. Окружающим он запрещал быть «мещанами»: наряжаться, обзаводиться приличной мебелью, играть на гитаре, держать канареек и, вообще, отвлекаться от строительства социализма. Сам же одевался за границей, снабжал Лилю Юрьевну французскими духами и другими милыми дамскими вещицами, включая кружевные рейтузики и клетку с канарейкой. Он имел обыкновение декларировать свою силу, но, нарываясь на скандалы, пускал в ход

связи, а не кулаки. Более того, встретив сильного противника, обижался, плакал и вёл себя не по-мужски. Кстати, был и казус. Один редактор журнала однажды... вызвал его на дуэль. Он не пришёл. — Мишель усмехнулся. — Он был придирчивым педантом, занудой и истериком: скандалил по пустякам с домработницами, третировал официантов в ресторанах, судился из-за гонораров и любил писать обстоятельные жалобы. Весь он — на контрастах. Его «последняя любовь» Нора Полонская пишет: «Я не помню Маяковского ровным и спокойным. Или он был искрящийся, шумный, весёлый или мрачный, и тогда молчавший подряд несколько часов. Раздражался по самым пустым поводам. Сразу делался трудным и злым». Маяковский, кстати, терпеть не мог и собратьев по перу. Брюсова именовал бездарностью, Блока — никчёмным поэтом, Есенин, по его словам, «истекал водкой». Он громил «Толстых, Пильняков, Ахматовых, Ходасевичей». Обнаруженный в следственном деле Пильняка подписанный Маяковским документ — обычный донос.

— Что ещё? — спросил я, чувствуя, что поэт нравится мне по описанию Мишеля всё меньше и меньше.

— Он был игроманом, но не от корысти, а от маниакальной сосредоточенности на игре. Играл,



пока не отыгрывался. Тут было суеверие: нельзя уйти проигравшим, иначе в жизни всё пойдёт наперекосяк. Ещё — он был мнителен, подозревал у себя туберкулёз. Брик свидетельствовала: «Володя был неврастеником. С 37-градусной температурой чувствовал себя тяжелобольным». Частые простуды, непреходящие головные боли, проблемы с зубами, точнее, с их почти полным отсутствием, заботили его до чрезвычайности. И ещё. «Володя плакал». Эта странная фраза попала мне в воспоминаниях не менее десяти раз. И подобная слезливость в мужчине тоже настораживает.

— Ну... — усмехнулся я, но осёкся. — Постой, по твоим словам выходит, что он лжец, трус, слабак, доносчик, неврастеник и истерик. Ну, а хоть что-то доброе в нём было?

— О, — завёл глаза к потолку Мишель, — конечно. Чудовищ, лишённых проблесков человечности, я не видел. Он очень любил животных, был сентиментален и раним, мог помочь — тем, кого считал «своими», и вообще, если вдуматься, был просто несчастным слабым человеком, пытавшимся выглядеть сильным и успешным. Я обращаю куда большее внимание на его пороки просто потому, что к смерти, тем более добровольной, приводят, как правило, изъяны характера, а не высокие добродетели.

— Ясно, — кивнул я. — Ну а женщины?

Мишель меланхолично улыбнулся.

— Тут инстинкты, а не принципы. Но, конъюнктурщик и лжец в поэзии, в любви он тоже неискренен, выступает как собственник и ревнует опять же не к Копернику, а именно к мужу Марьи Ивановны. Он влюбчив, сноб, ибо выбирает общепризнанных красавиц, но ни одна любимая женщина, как указывает Карабчиевский, никогда ему всецело не принадлежала. Женщины же, влюблявшиеся в него, очень быстро охладевали. Причины? Истеричность, ревность, неврастения. Полонская говорит, что он ей был противен физически. Добавлю и ещё одну монетку в любовную копилку. Он получал огромные гонорары и был советским «баринном»: отдыхал в лучших пансионатах, ездил по заграницам, снимал дачи, имел домработниц и даже собственный автомобиль, едва ли не единственный в стране. И всё равно — женщины уходили. От богача! Все его связи протекали тяжело, надрывно, оставляя горький привкус разочарования и обиды.

— И последняя тоже?

Литвинов несколько минут молчал, потом, уставившись немигающими глазами в тёмный угол, вздохнул.

Я терпеливо ждал.

— Если я что-то понимаю в любви, — Мишель бросил на меня задумчивый взгляд, — то

последняя связь поэта серьёзной вовсе не была.

— Как это? — растерялся я.

— Посуди сам: в феврале тысяча девятьсот двадцать девятого года Маяковский сделал в Париже предложение Татьяне Яковлевой. Определённого ответа не получил, но полагал решить этот вопрос осенью. А летом этого же года сошёлся с актрисой Вероникой Полонской и требовал, чтобы она ушла от мужа. Он ухаживал за Полонской, но писал Яковлевой: «По тебе регулярно тоскую, а в последние дни даже не регулярно, а чаще», он планировал на осень поездку в Париж, но Полонскую нежно называл своей «невесточкой».

— Подстраховывался? — лениво предположил я.

— Возможно, но как-то плохо. На самом деле, Яковлева его всерьёз даже не рассматривала, Полонская была замужем, и оставить ради него мужа и театр вовсе не хотела. Отказ её Маяковский воспринял крайне болезненно. Скандалил. Прилюдно устраивал безобразные сцены, подолгу простаивал под дверью квартиры, вымаливая свидание. Униженно просил прощения и тут же снова оскорблял. Всё было, как обычно бывало во всех его связях с женщинами.

— Ну, а причины смерти-то?

— Подходим, — кивнул Литвинов. —

Понимаешь, Юрий, смерть человека во многом отражение его жизни. Тем более, добровольная.

— Если честно, мне кажется, мужчина, которого ты описал, покончить с собой не мог бы никогда, — не выдержав, заявил я.

Мишель меланхолично улыбнулся, но мягко возразил:

— Не согласен. Мне кажется, *он мог покончить с собой*, но иначе, чем это случилось. Маяковский, если бы решился на суицид, попытался бы переплюнуть ненавистного Есенина с его кровавыми чернилами в «Англэтэре». Обычно убивают себя волевые люди, сломленные обстоятельствами, однако истерзанные неудачами неврастеники тоже суицидальны. Были бы причины... — Мишель задумчиво почесал в затылке. — Но были ли у Маяковского причины для суицида? — Литвинов начал методично загибать пальцы. — Говорят, он был переутомлён. Провалилась «Баня» у Мейерхольда. Без всякой помпы прошла юбилейная выставка, а из журнала «Печать и революция» изъяли его портрет. Разрыв с Яковлевой. Друзья дулись за соглашение с РАППом.

— Этого мало?

— Я полагаю, да. Всё это превратилось в драму ретроспективно.

— Ты уверен?

— Да. Провал пьесы? Подумаешь! Нападки критиков никогда не пугали Маяковского. Вражда была способом его существования. Не пришли чинуши на выставку? Ну, не трагедия всё же. Дружки устроили обструкцию? Тоже, чай, не впервой. Портрет? Смешно. Знавшие его близко не видели в этих событиях ничего, чтобы могло бы заставить поэта свести счёты с жизнью.

— В эмиграции говорили, что он осознал гибельность революционных путей... — осторожно обронил я.

Мишель отмахнулся.

— Мнение эмиграции о разочаровании в революции просто нелепо. Революция дала Маяковскому всё: силу, славу, деньги, положение. Однозначно высказался по этому поводу, кстати, Демьян Бедный: «Чего ему не хватало?» И это, как ни странно, тоже *ключевая фраза* .

— Из таких уст?

— Именно, — кинул Мишель. — Будь объективен. Демьян не отягощён симпатией к Маяковскому, это верно, но именно поэтому над ним и не довлел трагизм ситуации. Он видел именно то, что было, и с предельной чёткостью это обозначил.

— Но что же тогда случилось?

— Отсечём всё лишнее, — сказал Мишель. — Маяковского в этот период волновала только

Вероника Полонская. Яковлева была уже потеряна для него, а он хотел семьи. Он говорил Яковсону: «Хорошая любовь может меня спасти». Правда, сам он едва ли был достоин «хорошей любви», но такими вопросами наш поэт никогда не задавался. Это аристократический вопрос, а аристократизм нашему поэту, как я уже говорил, был несвойственен. И вот он ухаживает за Полонской так же, как ухаживал за Брик — с истериками, шантажами, сценами ревности и угрозами застрелиться. И вот... — На лице Литвинова проступило загадочное выражение. — Двенадцатого апреля он пишет прощальную записку: «Всем. В том, что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сёстры и товарищи, простите — это не способ (другим не советую), но у меня выходов нет. Лиля, — люби меня. Товарищ правительство, моя семья — это Лиля Брик, мама, сёстры и Вероника Витольдовна Полонская. Если ты устроишь им сносную жизнь — спасибо. Начатые стихи отдайте Брикам, они разберутся.

«Как говорят — «инцидент исперчен».

Любовная лодка разбилась о быт.

Я с жизнью в расчёте

и не к чему перечень  
взаимных болей,

бед  
и обид...»

Счастливо оставаться. Владимир Маяковский.  
Товарищи Вапповцы, не считайте меня  
малодушным. Серьёзно — ничего не поделаешь.  
Привет.

Ермилову скажите, что жаль — снял лозунг,  
надо бы доругаться.

В. М. В столе у меня 2000 руб. внесите в  
налог».

Мишель закончил чтение, а я, хоть сам  
неоднократно читал текст этого прощального  
письма, ничего не сказал, ожидая вердикта  
Литвинова. Он и последовал.

— Задумаемся, — поднял Литвинов  
указательный палец. — Что тут странного? Дата  
двухдневной давности? Ведь погиб он  
четырнадцатого. Высокопарное обращение к  
правительству? Включение в состав семьи Брик и  
Полонской одновременно? Старые, наскоро  
переделанные стихи? Нелепые сожаления о  
каких-то снятых лозунгах? Демьян Бедный снова не  
ошибся, сказав о *«жуткой незначительности  
предсмертного письма»*. Но есть и иное, ранее  
незамеченное.

— И что именно? — я почти не дышал.

Мишель пожал плечами.

— Это письмо не просто «жутко незначительно», Юрий. Оно *несерьёзно*. «Привет... Счастливо оставаться... Ничего не поделаешь...» Оно легкомысленно и беспечно. Это письмо бабочки-однодневки или глупенького тинэйджера. Но Маяковский не был ни легкомысленным, ни беспечным. Это был «тяжёлый человек» — и подлинная записка о смерти обязательно отразила бы эту тяжесть его натуры.

— Ты думаешь, писал не он? — я растерянно улыбнулся. — Но экспертиза подтвердила его почерк.

— Писал, конечно, он, — кивнул Литвинов. — Однако я думаю, что это написано так же, как его знаменитое: «Я люблю смотреть, как умирают дети...». «*Неужели вы думаете, что это правда?*» Говорю же тебе, это *ключевые, мистические* слова. Да, это письмо — фейк, неправда. Это написано, чтобы надавить на Полонскую, как давил он когда-то на Лилю Брик, навешивая ей на уши лапшу о самоубийстве. Ведь только Дон-Жуан для каждой новой пассии избирает новый способ обольщения. Маяковский — не Дон-Жуан, он действует по одной и той же схеме. Всё это *не всерьёз*.

— Та-а-а-а-к, — протянул я иронично. — И пулю в сердце он тоже пустил не всерьёз?

— Не торопись, — снова осадил меня



Литвинов. — Пока отметим, что написавший эту несерьёзную записку явно не собирался умирать. Что же произошло? Весь день я думал, но в итоге всё понял. Слушай же. Тут подлинная мистика, страшная шутка дьявола.

Я наострил уши и затаил дыхание.

— Лиля Брик говорит: «Он два раза стрелялся, оставив по одной пуле в револьверной обойме». Конечно, сама она этого не видела, просто слышала про это от него самого. Но тут верно то, что для гусарской рулетки в револьверную обойму вставляют один патрон и вращают барабан. Пуля может оказаться в стволе, а может, — не оказаться. Шанс — один к пяти. Но...

— Но... — зачарованно подхватил я.

— Но у Маяковского не было револьверов! — точно доставая кролика из шляпы, тоном фокусника проговорил Литвинов. — Ни смит-и-вессона, ни нагана. У него были только пистолеты: люгер, байард, браунинг и подарок Агранова — маузер, а в них патронник-то плоский, зигзагообразная пружина продвигает патроны к стволу, а верхняя — направляет их в дуло. С пистолетом в рулетку не сыграешь. Ты же носил оружие. И абсолютно бессмысленно заряжать пистолет одним патроном, надеясь на осечку — патрон всё равно окажется в стволе, разве что его перекосит или заклинит.

— Это так, — кивнул я, вспомнив армейский

опыт.

— Тогда скажи, почему, имея целый арсенал патронов, он, готовясь к смерти, не вставил в патронник все шесть патронов?

— Но постой, я же читал материалы дела, — растерялся я. — Там упоминается, что Маяковский зарядил маузер именно одним патроном.

— То-то и оно, что не зарядил! — Мишель щёлкнул пальцами. — Готовясь к разговору с Полонской, он загодя *разрядил* маузер. Вынул все патроны и махал перед её носом написанной специально для неё глупой запиской и разряженным пистолетом. Они были хорошей парой: она — актриса, и он тоже... любил покривляться.

— Так как же... — я ничего не понимал. — Кто же вставил патрон в ствол?

— Говорю же, дьявол, — расхохотался Мишель, но тут же наклонился ко мне, и растолковал. — Он имел пистолеты, но стрелял ли хоть раз в жизни на самом деле? Не в гэпэушном тире, а по-настоящему? Знал ли он, сказал ли ему Агранов, что, разряжая обойму, надо обязательно вынуть патроны не только из патронника, *но и из ствола, так как один патрон в заряженном пистолете неизбежно попадает туда*? — Мишель вздохнул и откинулся на подушку.

Я закусил губу и замер. Это было верно. И

порой про патрон в стволе забывают даже кадровые военные! Это распространённая ситуация в армии, и поэтому на учебных плацах по окончании стрельбы все стрелявшие предъявляют проверяющему офицеру оружие со сдвинутым затвором.

— А если Агранов и сказал ему про это, — продолжил Мишель, — запомнил ли его слова Маяковский? Подарок был сделан задолго до смерти. В последнем же апреле голова поэта была занята любовными разборками, до того ли тут? Технически же он был абсолютно безграмотен, что пистолет, что утюг — для него было одинаково. Поэт вынул обойму — и счёл себя в безопасности, — Литвинов блеснул глазами. — В итоге, картина происшедшего проясняется на глазах: наш поэт пишет глупейшую предсмертную записку с целью шантажа своей пассии, два дня подряд машет перед её носом этой бумажкой и разряженным, как он уверен, пистолетом, требуя уйти от мужа. Но Нора всё равно пытается уйти. Маяковский же закатывает очередную сцену, приставляет маузер к сердцу, уверенный, что будет осечка... и... театрально нажимает на курок. Гремит выстрел.

— Господи... — прошептал я.

— И вспомни, — Мишель наклонился ко мне, — Полонская же говорила на следствии, что

бросилась к Маяковскому, когда он был ещё жив и даже пытался подняться и что-то прокричать. Что прокричать? Почему он, со смертельной раной в сердце, пытается подняться? Не потому ли, что он в ужасе от случившегося? Ведь его перекошенный мукой рот так и замер в крике — страшном, последнем, когда уже ничего нельзя было объяснить и исправить. Он, азартный игрок и лжец, слишком долго искушал Бога пустыми играми со смертью. Вот и доигрался.

Я несколько секунд ошарашенно молчал.

— Так... так значит, он не самоубийца.

— Де-юре нет. Но де-факто... Вваливаться на тот свет по дури, — это неблаговоспитанность, и скажу больше — плебейская неотёсанность.

Я проигнорировал эти мишелевы сентенции.

— Постой, — перебил я его, — но Полонская же слышала звук выстрела за дверью!

— Вздор, — презрительно отмахнулся Мишель. — Не забудь, она актриса и притом — потомственная, её отца приглашали в Голливуд, а юная Нора снималась в немом кино с шести лет и служила в Московском Художественном театре, куда бездарей никогда не брали. Подумай сам: её, замужнюю женщину, могут застать наедине не просто с посторонним мужчиной, но с трупом! Зачем это ей? Маяковский, конечно же, разыграл эту сцену у неё на глазах и только для неё. Увидев

же его упавшим, она, безусловно, кинулась к нему, потом, поняв, что помочь нельзя, в ужасе выскочила за дверь, сделав вид, что там и была во время выстрела. Как бы она увидела, что он пытался подняться, если была за дверью? Шевелиться с таким ранением он мог не больше пары минут.

— Так она солгала?

— Она спасала себя. Ей ничего не оставалось, как сыграть невинность. И сыграла она блестяще. Ведь сумела же она убедить следствие, что была с ним в «платонических отношениях», «забыв» о беременности от него. Впрочем, — оборвал себя Мишель, — она могла особенно и не стараться. Её показания на самом деле никакого значения-то не имели: ведь записка о самоубийстве лежала на столе, и она могильной плитой прикрыла все несуразности этой нелепой смерти. Если бы не эта записка, Полонскую допросили бы куда основательнее, с пристрастием, а тут в этом и нужды-то не было.

— Ужас, — растерянно пробормотал я.

Кот Гораций открыл глаза и потянулся, явно не осознавая трагизма свершившегося с поэтом.

— Да, — согласился Литвинов. — Жутковато. Когда вместо ожидаемой Маяковским осечки из дула вылетел забытый им там патрон, всё перевернулось, и всегдашняя ложь этого человека

впервые стала жуткой, мистической и инфернальной правдой. Мгновение — и задуманный им театральный спектакль превратился в дурную трагедию смерти, одна из обычных пустых связей обернулась «последней любовью поэта», а написанная им смешная бумажка обрела высокий статус «предсмертного письма»... Дурная мистика, ей-богу...

...После этого расследования я уже не сомневался в талантах Литвинова, а вскоре убедился, что он любит не только детективные истории, но и исторические дознания, имеет дар психоаналитика, талант следователя и недурное умение чувствовать время.

## Глава 3

# «Как же можно строить предположения на таком неверном материале?»

*Честолюбие есть лестница, источенная червями, покрытая прекрасным лаком; с доверчивостью взбираетесь вы по ней, но на последней ступени она ломается и низвергает вас.*

**Автор неизвестен**

*Честолюбие воспламеняет низменные души гораздо легче, нежели возвышенные: хижинны загораются быстрее, чем дворцы.*

**Н. Шамфор**

Моё дальнейшее повествование я, наверное, не смогу выстроить линейно во времени. Наши разговоры, точнее, литвиновские реминисценции, запомнились тем, что забавляли меня и давали пищу для размышлений, и я зачастую не помню, когда состоялся тот или иной разговор, был ли он связан с какими-то событиями в нашей жизни, или возник спонтанно.

Однако этот разговор, насколько я помню,

произошёл вскоре после моего переезда в Банковский переулок.

Литвинов, как я заметил, ненавидел университетскую богему и особенно не выносил экзальтированных девиц, обожавших Цветаеву с Ахматовой и даже подстриженных под них. Он уверял, что поклонницы Цветаевой, как правило, глупы, болезненно самолюбивы, склонны к пророческим припадкам, восторженны и сентиментальны, а поклонницы Ахматовой — бессердечны и лживы, маниакально горды, склонны к позёрству и упорно пытаются объяснить тебе, что ты должен думать по интересующему их вопросу. На курсе эти партии взаимно презирали друг друга и контактировали с трудом, Литвинов же терпеть не мог и тех, и других. Не любил он и самих поэтесс, видя в их поклонницах отражение духа женской поэзии.

Я вяло переубеждал его, но, понятное дело, не слишком усердствовал.

— Да ты с ума сошёл!

Это эмоциональное высказывание сорвалось с литвиновских уст в ответ на мой вопрос, можно ли выяснить по стихам личность дамы-поэтессы? Возник он в нашем разговоре на тему: «Есть ли разница между мужчиной и женщиной в творчестве?». Мишель откровенно изумился и в итоге разразился монологом, подозрительно



похожем на рассуждения Холмса о том, что женщин вообще трудно понять, и за самым обычным поведением женщины может крыться очень много, а замешательство их иногда зависит от шпильки или от дурно напудренного носа. «Как же можно строить предположения на таком неверном материале?»

Однако я умел быть настойчивым и уговорил его проанализировать одну из известных поэтесс, каюсь, просто из любопытства. Но разбирать Марину Цветаеву Литвинов отказался наотрез, мотивируя отказ тем, что накал цветаевских стихов превосходит его эмоциональность тысячекратно, а столкновение льда и пламени бесперспективно в принципе, ибо результат его — всего-навсего лужа на головешках. В итоге после долгих уговоров он согласился пролистать Ахматову.

— Она, вроде, поспокойнее, — проронил он тоном, лишённым даже тени воодушевления.

Я надеялся, что он увлечётся, как это было с Маяковским, но этого не произошло. Энтузиазм его не возрос пропорционально погружению в тему, напротив, час от часу Литвинов становился мрачнее, при этом просил не отвлекать его. Уединение и тишина были необходимы Мишелю, как и Холмсу, в часы умственной работы, когда он взвешивал все свидетельства «за» и «против», сравнивал их между собой и решал, какие сведения

существенны. а какими можно и пренебречь.

Я старался не беспокоить его, приносил кофе и безропотно бегал в гастроном на углу за кулебякой и пончиками, следил за Горацием, который то и дело пытался забраться на диван и нарушить уединение Литвинова.

Наконец на третий день Шерлок сказал, что после ужина готов отчитаться о проделанной работе.

— Не понравилось? — невинно спросил я.

— Характер вырисовывается скверный, — скривился Литвинов, отложив в сторону сборник с горбоносим профилем на титуле. — Боюсь, — выразил он опасение, — Гумилёву с этой женщиной сильно не повезло.

Я начал сервировать ужин и осторожно поинтересовался:

— Ты проанализировал стихи и воспоминания о ней?

— Да, всё, что нашёл, а написано о ней море мемуаров. Но восторга это всё не вызывает, уверяю тебя, — Мишель взял вилку и мрачно приступил к вечерней трапезе.

Я не стал говорить за едой о литературных изысканиях, мы обсудили предстоящую сессию и свои курсовые. Кот, накормленный до отвала, забрался на кресло и заурчал.

Об Ахматовой Мишель заговорил после

ужина, снова плюхнувшись на любимый зелёный диван и оказавшись в окружении стихотворных сборников и томов воспоминаний.

Я сел напротив и весь обратился в слух.

— Уже в третьем из опубликованных стихов, — мрачно начал Литвинов, перелистнув пару страниц Ахматовой, — проступает нечто странное, точнее — противоестественное. Это удивительное поползновение-притязание, точнее, *претензия на вечность*. Послушай-ка. «...А там мой мраморный двойник, поверженный под старым клёном, озёрным водам отдал лик, внимает шорохам зелёным. И моют светлые дожди его запёкшуюся рану... Холодный, белый, подожди, я *тоже мраморною стану* », — Мишель отложил книгу. — Это датировано 1911 годом и вошло в дебютный сборник Ахматовой под названием «Вечер».

— И что тут странного? — не понял я.

— Странно то, что юная Ахматова говорит вовсе не о смерти Пушкина, заметь, а о бессмертии, причём — своём собственном. А лет ей всего ничего, однако она уже думает о мраморном монументе — обелиске своей славы. И обрати внимание, это не высказанное походя желание. Это уверенное обещание, некое обетование и зарок. И подобная амбициозность в столь юном существе уже настораживает. Странно и само притязание:

ведь она не претендует освятить мир новым словом или научить людей новым трогательным чувствам, нет, её цель — именно *прославиться*. Пушкин не мечтал о монументах. Его «Я памятник воздвиг себе нерукотворный», как ты знаешь, это аллюзия на горацевский «*Exegi monumentum aere perennius*»<sup>1</sup>.

— Помню, учил, — кивнул я, вспомнив латинские лекции на первом курсе.

— Но и Пушкин, и Гораций, обрати на это внимание, пишут вовсе не о памятниках, а о *памяти*, которая сохранит их имя в потомстве. За что же их должны помнить? Пушкин видит свою заслугу в том, что лирой пробуждал добрые чувства, славил свободу и призывал милость к падшим, а Гораций претендует на память потому, что песни Италии он переложил на латынь, то есть — реформировал стихосложение и сделал культуру италийцев доступной всем образованным людям. При этом у обоих поэтов — это стихи зрелости, это *оценка своих заслуг*, а именно — уже *совершённого*. Но Ахматова декларирует жажду славы в своём первом сборнике, не имея ещё никаких заслуг перед поэзией, более того — она ничего дать поэзии и не обещает. Она просто хочет славы, без милости к падшим, без добрых чувств и

---

<sup>1</sup> Я памятник воздвиг крепче меди... (Гораций)

без особых трудов, так сказать. Это, конечно, очень по-женски: хочу и всё тут.

Я молча слушал. Признаюсь, женских стихов не люблю, но Ахматова была мне ближе Цветаевой, в стихах которой я просто ничего не понимал, и даже прочитать их порой мог только с третьей попытки. Ахматова таких усилий не требовала. Однако, прочтя дюжину её стихов, я обычно утомлялся и Бог весть почему переставал читать, откладывая чтение «на потом». О личности же поэтессы я никогда не задумывался и, скажу по правде, не думал о ней самой вовсе. Но Литвинова слушал с интересом — в его интерпретации классики «оживали».

Именно «оживлением» он сейчас и занимался. Меня лишь удивило, что попытка «оживить» Ахматову испортила ему самому настроение.

Кот Гораций, развалясь в кресле, просто уснул.

Литвинов же, не торопясь, продолжал.

— Из дальнейших стихов ничего о ней не извлечёшь, она удивительно скрытна, причём хорошо умеет прятать свои недостатки и очень хорошо выявляет чужие. Требовательная к другим, она соблюдает как бы дистанцию, ставит ограду вокруг себя. Её образ в стихах — надменная красавица, раненая любовью. Но стремления её вовсе не семейные и не любовные, я бы даже

сказал, что она не умеет любить, а может только изобразить любовь.

— Ты уверен? — я по-настоящему удивился этому уверенному суждению Литвинова.

— Да. Эмоции её как будто велики, но на самом деле она вовсе не откровенна. Ахматова тщательно отбирает и дозирует метафоры, выстраивает фразу, подбирает рифмы. И в ранних стихах куда больше рифм, чем любви, кроме того, заметно явное подражание Кузмину и Анненскому.

— Ой! Да все юные кому-то подражают, тут ничего особенного нет, — вступился я за Ахматову. — А что ты ещё в ней разглядел? — я был почти уверен, что на этом анализ и закончится.

— Дальше, — Шерлок вытянул губы трубочкой, — я решушь развить два уже намеченные допущения. Эта женщина не умела любить и жила только ради славы. Из биографии видно, что она не ценила семьи. Традиции страны ей тоже в принципе безразличны. В ней виден единый стержень, и он всё тот же, намеченный сразу, это явный догмат честолюбия. Непреклонно и, возможно, бессознательно она ставит перед собой амбициозную цель. Остаться в веках во мраморе. Вот её кредо. Как ни странно, в ней чувствуется самодисциплина и готовность использовать слабости других ради собственных целей. Такие люди, начав мальчиком на

побегушках, могут подняться до поста директора компании, или стать олимпийским чемпионом после авиакатастрофы. Цель не бывает невыполнимой, а планка слишком высокой. И в её распоряжении было всё, чтобы реализовать свои амбиции.

— Ты это всерьёз? Ахматова? — снова удивился я.

Всё сказанное Мишелем как-то не вязалось с образом худой горбоносой женщины десятых годов с рисунка Модильяни, пишущей о мучительной любви.

Но Литвинов уверенно кивнул.

— Она бесчувственна, как кочерыжка, Юрик, но это не телесная фригидность, а душевная, — твёрдо проронил Литвинов, вторгаясь негромким баритоном в мои размышления. — Посмотри сам. В ранних стихах ощущения туманны и смутны, она вроде как романтична, но романтика-то заимствована, а влюблена она вовсе не в человека. Она обожает романы, однако от партнёра ей нужны только драматические жесты, себя же она видит, как минимум, королевой. Эротическое воображение искажено: ведь на самом деле она возбуждается только от слова «слава». И оно в первых сборниках проступает *несколько десятков раз*.

— В женщине чувственность может проснуться поздно, проявиться постепенно, с

задержкой... — снова вступился я за классика, но не потому, что был не согласен. Просто из чувства противоречия.

— Конечно, может, но в ней она так никогда и не проявилась, — уверенно сказал Литвинов. — Она, возможно, считала чувства слабостями, над которыми нужно получить власть, а лучше избавиться от них вовсе, но вернее другое: она никогда и не имела чувств. Она их только изображала.

— Господи, ну с чего ты это взял? — возмутился я.

— Я взял это частично из дневника её любовника Николая Пунина, признанного питерского красавца, а так же из нескольких иных источников, — хмыкнул Литвинов, перелистывая страницы. — «Она невыносима в своем позёрстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, оттого, что я не даю ей для этого достаточного повода». Если это — фраза о любимой, то мне тоже впору покупать свадебную манишку. На ней был женат Гумилёв, который всего за две недели до сватовства к ней делал предложение другой, и полугода ему вполне хватило, чтобы понять, что он ошибся в своём непродуманном выборе. Недоброво был тоже холоден. Владимир Шилейко был её любовником, при этом требовал, чтобы она уходила из дома, когда приходили его друзья, лгал ей, что



зарегистрировал их отношения, чего вовсе не было, а потом по-настоящему женился на Вере Андреевой. Потом — у неё была связь с Артуром Лурье, который на несколько лет сделал Ахматову — после Ольги Судейкиной — своей второй любовницей, но обеих бросил, чтобы жениться. О дальнейшем узнаем из письма Ирины Грэм Михаилу Кралину: «Уезжая в Европу, Артур Сергеевич поручил Ахматову заботам своего друга Пунина. Вы знаете, что вышло из этих забот. А.А. ни с кем не считалась, и чужие переживания её не волновали. Дружочек мой, эпоха была блудная, и женщины, не задумываясь, сходились со своими «поклонниками и почитателями». Пусть так. Но с Николаем Пуниным у Ахматовой всё вышло ещё унизительнее: он был женат на Анне Аренс и никогда не оставлял жену. Ахматовой он разрешил жить вместе с ними во время их связи — это было вполне в духе революционных нравов, ведь Пунин имел ещё дюжину подруг. Когда прекратились интимные отношения, Пунин пытался поэтессу выселить, но Ахматова упёрлась. «Большой любви она во мне не вызвала. Не вошла ничем в мою жизнь, а может быть, не могла». Это слова Пунина, и он же проронил ещё одну страшную фразу: «Аня, честно говоря, никогда не любила. Всё какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски, обиды, зловердство, изредка демонизм. Она даже не

подозревает, что такое любовь. Ее «лицо» обусловлено интонацией, главное — голосом, бытовым укладом, даже каблучками, но ей несвойственна большая форма — этого ей не дано, потому что ей не даны ни любовь, ни страдания. Большая форма — след большого духа». Заметь, это говорит неглупый опытный мужчина, имевший возможность наблюдать за ней долгие годы и сравнить её с другими женщинами.

Я покачал головой.

— Звучит, как приговор.

— Верно, и это притом, вспомним, что Пунин был её любовником и знал толк в женщинах, Юрий. Ахматова жила в доме Пунина как квартирантка-приживалка, а Пунин последние пятнадцать лет жизни был женат на Марте Голубевой. Идём дальше, — Мишель порылся в книгах и вытащил одну из них. — Был и профессор Гаршин. Она сошлась с ним до войны, после окончательного расставания с Пуниным, Гаршин был женат, навещал ее в доме Пунина, во время войны остался в Ленинграде, потерял жену, и, не сказав Ахматовой ни слова, женился на докторе наук Волковой. Всё это — краткая история основных связей без учёта мелких.

— Да, не похоже, чтобы ею дорожили мужчины...

— Да, но почему? — перебил Литвинов. —

Почему эту в принципе видную, даже красивую женщину отвергали, причём, с таким жестоким постоянством? Вывод только один: мужчины не видели в ней женщины, не чувствовали исходящего от неё душевного тепла. Но не резонно ли предположить, что его и не было? Именно поэтому я и утверждаю, что любить она просто не умела.

— Однако, судя по стихам, она меняла мужчин, как перчатки...

— Стихи о победах — это реакция компенсации, а факты — увы, говорят совсем о другом, — Мишель вздохнул. — Дальше я вынужден прибегнуть к предположениям. Возможно, ранние неудачи на любовном фронте оставляли ей лишь одну альтернативу — измерять счастье по внешнему успеху: как прирост чистой прибыли.

Тут Литвинов задумался.

— А может — наоборот? — спросил он сам себя. — Именно потому, что она искала только славы — её так никто и не смог полюбить? Она упорно проводила в жизнь свои намерения, несмотря на сопротивление путающихся у неё под ногами, и настойчиво стремилась к осуществлению своих честолюбивых планов. Было и ещё кое-что. Фразы типа: «Кругом беспорядок, грязная посуда, сырные корки...», «сквернословила, особенно в подпитии, жила в грязи, ходила в рваной

одежде», — встречаются в воспоминаниях о ней десятки раз. Мужчина может переспать с грязнулей, но жить с ней долго — не будет. При этом удивляет и её умение заставлять других работать на себя, сама она, как королева — ничего не делает.

— Ну, аристократка...

— Это она сама так говорит, но подлинных документов о её происхождении я нигде не нашёл. Но даже графини после революции довольно быстро учились мыть посуду. А она даже волосы себе не расчёсывала. Это, правда, «из зловердства». Равно, и она даже сама не отрицала этого, Ахматова была дурной матерью: сына младенцем отдала родственникам, почти не виделась с ним и не интересовалась его жизнью, в лагерь и на фронт писала мало, посылки присылала «самые маленькие», жила без сына весело, вмешивалась в его личную жизнь, научных достижений не признавала.

— Ты говоришь так, словно ненавидишь её.

Мишель покачал головой.

— Это голые факты, я ничего не перевираю. Честолюбие и мечта о славе — вот её стержень. Посмотри сам. Бродский, который знал её, в общем-то, хуже всех, говорил, однако, что она ничего не делала случайно. Надежда Мандельштам вторила ему: «В последние годы Ахматова «наговаривала пластинку» каждому гостю, то есть

рассказывала ему историю собственной жизни, чтобы он навеки запомнил её и повторял в единственно допустимом ахматовском варианте». «Она заботилась о посмертной жизни и славе своего имени, забвение которого было бы равнозначно для неё физической смерти», свидетельствует Ольга Фигурнова. «Она, конечно, хорошо понимала, что все её сохранившиеся письма когда-нибудь будут опубликованы и тщательнейшим образом исследованы и прокомментированы. Мне иногда даже кажется, что некоторые из своих писем Ахматова сочиняла в расчёте именно на такие — тщательные, под лупой — исследования будущих «ахматоведов». Это из диалогов Волкова с Бродским. И наконец, Корней Чуковский: «Она никогда не забывала того почётного места, которое ей уготовано в летописях русской и всемирной словесности». И все эти люди, а можно найти и ещё дюжины подобных свидетельств, говорят, что Ахматова продуманно и чётко создавала себе легенду: аристократка, возлюбленная лучших мужчин, вдова трёх мужей, мать-мученица, героиня-страдальца, жертва Сталина, гениальная поэтесса, литературовед-пушкинистка, всемирная слава, равновеликая Данте и Петрарке.

Я вздохнул.

— Ну, ладно. Она не вдова трёх мужей. И

мужчины не любили её, в этом ты меня убедил. У неё были плохие отношения с сыном. Но было же и Постановление сорок шестого года, и стихи были.

Литвинов умерил мой пыл лёгким покачиванием головы.

— О, это отдельная история. Пойми, эмоции враждебны чистому мышлению. В таких случаях, как этот, нужно поставить себя на место действующего лица, и, уяснив для себя его умственный уровень, попытаться вообразить, как бы ты сам поступил при аналогичных обстоятельствах на его месте и что чувствовал бы. Так вот — я бы на месте Ахматовой обрадовался этому постановлению. Оно же буквально вписывало её имя в историю! Делало мученицей и страдальницей. Разве не к этому она стремилась? Я не имею предвзятых мнений, а послушно иду за фактами. Это постановление для неё — подарок судьбы.

— Ну, это ты уж перегибаешь палку...

Литвинов пожал плечами.

— Разве? Однако к постановлению давай вернёмся чуть позже. Пока же ты считаешь, что подобная трактовка её поступков не согласуется с её образом. Правильно. Но ведь в том-то и дело, что весь образ великой Ахматовой, как я понял, создавался ею же. Найман цитировал её слова: «У меня есть такой приём: я кладу рядом с человеком

свою мысль, но незаметно. Через некоторое время он искренне убеждён, что это ему самому в голову пришло». Для верности нужные формулировки она многократно повторяла. «Войдя в зал заседаний и заняв предназначенное ей место, она обратила внимание на мраморный бюст Данте, стоящий поблизости. «Мне показалось, что на лице его было написано хмурое недоумение — что тут происходит? Ну, я понимаю, Сафо, а то какая-то неизвестная дама...» Это воспоминание Д. Журавлева — снова с её слов. Сам Журавлёв, я уверен, ни о какой Сафо в таком контексте просто не подумал бы. Ему бы это и в голову не пришло. Другой пример. Советские поэты поехали в Италию по приглашению тамошнего коммунистического мэра какого-то городишки, а её не пустили, взяли Маргариту Алигер. И она говорит: «Итальянцы пишут в своих газетах, что больше бы хотели видеть сестру Алигьери, а не его однофамилицу».

— И что?

— Как что? — изумился Мишель так громко, что разбудил кота. — Поднимите мне веки и покажите эти газеты. Прости, Юрик, но я никогда не поверю, чтобы итальянцы такое написали. Это было бы по-хамски грубо по отношению к гостям. С какой стати им писать, что они не желают видеть поэтессу, официально включённую в советскую делегацию? Какая им разница, чёрт возьми, кто к

ним приедет? Они, что, могли отличить Алигер от Ахматовой? Не говоря уже о том — где Ахматова взяла эти итальянские газеты, и кто бы их ей перевёл? В это просто *невозможно* поверить. Она лжёт.

— Как я понял, — перебил я его, — ты просто затрудняешься понять, где в воспоминаниях о ней подлинные факты, а где — подложная мысль Ахматовой?

— Именно, — кивнул он, многозначительно подняв указательный палец. — Она обладала талантом медиума и умела внушать — правда, только не очень умным и слабым духом людям свои мысли. Блок, Бахтин, Чуковский — все люди с головой от неё отворачивались и видели то, что было. «В «Чётках» слишком много у начинающего поэта мыслей о «славе». Пусть «слава» — крест, но о кресте своём не говорят так часто». Это Иванов-Разумник, «Забытой Ахматова как раз быть не хотела. Вся долгота её дней была воспринята ею как шанс рукотворно — *обманом, настойчивостью, манипулированием* — создать себе памятник», — это Солженицын.

Мишель снова перелистнул несколько страниц.

— Впрочем, не только собратья по перу, но и простые обыватели нередко замечали её позёрство и завышенные амбиции. «Мне кажется, однако, что



царственному величию Анны Андреевны не доставало простоты — может быть, только в этом ей изменяло чувство формы. При огромном уме Ахматовой это казалось странным. Уж ей ли важничать и величаться, когда она Ахматова!» Это Всеволод Петров. «У Ахматовой, по-моему, совсем не было чувства юмора, когда дело шло о ней самой; она не хотела сойти с пьедестала, ею себе воздвигнутого». Это из книги Михаила Кралина «Артур и Анна», и там же: «Очень все преувеличено в сторону дурного вкуса и нескромности». А вот Эмма Герштейн: «Я часто замечала, что перед женщинами Анна Андреевна рисовалась, делала неприступную физиономию, произносила отточенные фразы и подавляла важным молчанием. А когда я заставляла ее в обществе мужчин, особенно если это были выдающиеся люди, меня всегда заново поражало простое, умное и грустное выражение её лица. В мужском обществе она шутила весело и по-товарищески». То есть всё умные люди видели королеву голой. И даже не боялись об этом говорить.

— Артистизма ей, выходит, было не занимать. Литвинов кивнул.

— Верно, но если долго играешь, неизбежны «накладки»: «Торопится уехать в Ленинград. Я спросила: зачем. Она ответила: «Чтобы нести свой

крест». Я сказала: «Несите его здесь». Вышло грубо и неловко».

— А это откуда? — спросил я.

— Это — «нашла коса на камень», — рассмеялся Литвинов. — Фаина Раневская была слишком актриса, чтобы не разглядеть чужого актёрства. Но остальные не были столь проницательны. В стихотворении «Летят года» Дудин называет Ахматову «Сафо двадцатого столетья». «Обессиленная чайка творчества в мучительно сжатых руках побледневшей Ахматовой». Это Смирнов. «Великие испытания заставили этот голос звучать горько и гневно и, вероятно, такую и войдёт Ахматова в историю». Это Оксёнов, рецензия на «Чётки». «Не забуду, когда, сидя у нас дома на диване, Анна Андреевна величественно слушала граммофонную запись своего голоса. Голос был низкий, густой и торжественный, как будто эти стихи произносил Данте, на которого Ахматова, как известно, была похожа своим профилем и с поэзией которого была связана глубокой внутренней связью. Ахматова сидела прямо, неподвижно, как изваяние и слушала гул своих стихов с выражением спокойным и царственно снисходительным». Это Максимов, книга «Об Анне Ахматовой, какой помню». Тут везде явно проступает как раз подсознательная трансляция ахматовских слов комментатором, —

рассмеялся Литвинов.

— Но трансляция трансляцией, но я так понял, что ты считаешь, что это просто ложь?

— Посуди сам. Возьмём её утверждение, что отец велел ей взять псевдоним, чтобы, дескать, не «опорочить фамилию». Уверен, что этого не было. Фамилия Горенко ничем в веках не прославлена, и потому её нельзя «запятнать». Чай, не Голенищевы-Кутузовы, не Багратионы и не Фонвизины. Я полагаю, что эта фамилия не нравилась самой Ахматовой, и идея взять пышный псевдоним исходит от неё самой. Ведь недаром она бесилась, когда её звали «по паспорту» «Анной Горенко». Также тут же придумывается история с каким-то татарским князем. Но причина всех этих манипуляций — отмежевание от малороссийских корней и обретение нового, более значительного имени. И всё ради славы.

— Но ведь какая-то слава у неё была?

— Да, но скорее, эстрадная, и то — в десятых годах. Она была кумиром «фельдшерлиц и гувернанток», но очень недолго. Долго её читать трудно. Я могу прочесть десять её стихов — и они мне понравятся. Но я читаю ещё десять — а они точно такие же, с теми же приёмами и тем же содержанием. Ещё десять — и уже не хочется это читать: смутно понимаешь, что и всё остальное — такое же мелковатое и жеманное. У неё главная